

В. Ф.
ОДОЕВСКИЙ

Избранное



Владимир Федорович Одоевский

Бригадир

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=647475
Владимир Федорович Одоевский. Избранное: М.; 2011*

Аннотация

«Неприятно, тягостно это зрелище! В торжественную минуту кончины человека душа невольно ожидает сильного потрясения, а вы холодны; вы ищете слез, а на вас находит насмешливая, едва ли не презрительная улыбка!..»

Содержание

1	16
2	17
3	18
4	19
5	20

Владимир Федорович Одоевский Бригадир

*Жил, жил, и только что в газетах
Осталось: «выехал в Ростов».*

Дмитриев^{III}.

Недавно случилось мне быть при смертной постели одного из тех людей, в существование которых, как кажется, не вмешивается ни одно созвездие, которые умирают, не оставив по себе ни одной мысли, ни одного чувства. Покойник всегда возбуждал мою зависть: он жил на сем свете больше полувека, и в продолжение сего времени, пока цари и царства возвышались и падали, пока открытия сменяли одно другое и превращали в развалины все то, что прежде называлось законами природы и человечества, пока мысли, порожденные трудами веков, разрастались и увлекали за собою вселенную, — мой покойник на все это не обращал никакого внимания: ел, пил, не делал ни добра, ни зла, не был никем любим и не любил никого, не был ни весел, ни печален; дошел за выслугу лет до чина статского советника и отправился на тот свет во всем параде: обритый, вымытый, в мундире. Неприятно, тягостно это зрелище! В торжественную минуту кончины человека душа невольно ожидает сильного по-

трясения, а вы холодны; вы ищете слез, а на вас находит насмешливая, едва ли не презрительная улыбка!.. Такое состояние неестественно, ваше внутреннее чувство нагло обмануто, растерзано; а что всего хуже, это зрелище заставляет вас обратиться на зрелище, еще более несносное – на самого себя, возбуждает в вас докучливую деятельность, разлучает вас с тем сладким равнодушием, которое в гладкую ледяную кору заключало для вас все подлунное. Прощай, свинцовая дремота! Прежде с сладострастием самоубийцы вы прислушивались к той глухой боли, которая мало-помалу точит организм ваш; а теперь вы боитесь этого верного, неизменного наслаждения; вы начинаете по-прежнему считать минуты, раскаиваться; снова решаетесь на новую борьбу с людьми и с самим собою, на старые, давно уже знакомые вам страдания...

Так было со мною. Покойника холодно отпели, холодно бросили на него горсть песку, холодно совсем закрыли землю. Нигде ни слезы, ни вздоха, ни слова. Разошлись; я вместе с другими... мне было смешно, грустно, душно; мысли и чувства теснились в душе моей, перебегали от предмета к предмету, мешали размышление с безотчетностию, веру с сомнением, метафизику с эпиграммой; долго волновались они, как волшебные пары над треножником Калиостро^[2], и наконец мало-помалу образовали предо мною образ покойника. И он явился, – точь-в-точь как живой: указал мне на сбои брюшные полости, вперил в меня глаза, ничего не выра-

жающие. Тщетно хотел я бежать, тщетно закрывал лицо руками; мертвец всюду за мною, смеется, прядает, дразнит мое отвращение и щеголяет передо мною каким-то родственным со мною сходством. . .

«Ты смотрел холодно на мою кончину!» – сказал мне мертвец, и вдруг лицо его приняло совсем иное выражение: я с удивлением заметил, что во взоре его место бесчувственности заступила глубокая, неистощимая грусть; черты бессмыслия выразили лишь холодное, обжившееся отчаяние; отсутствие вдохновения превратилось в выражение беспре- станного, горького упрека. . .

«Ты даже с насмешкою, с презрением смотрел на мои последние страдания», – продолжал он уныло.

«Напрасно! ты не понял их: обыкновенно жалеют, плачут об умершем гении, бросившем плодоносную мысль на почву человечества; о художнике, оставившем в звуках и красках все царство души своей; о законодателе, в себе одном заключившем судьбу миллионов; и о ком жалеют? о ком плачут? – о счастливцах! Над их смертною постелью витает все прекрасное, ими созданное; им разлуку с миром улаживает их право на гордость, от которого так свежо душе человека; они в последнюю минуту, больше нежели когда-нибудь, вспоминают о делах, ими совершенных: в эту минуту и похвалы, ими слышанные и предполагаемые, и их тяжкие, таинственные страдания, даже самая неблагодарность людей – все сливается для них в громкий, благодарственный гимн,

который чудною гармониею отдается в их слухе! А я и мне подобные? Мы в тысячу раз более достойны слез и сожаления! Что могло усладить мою последнюю минуту, что? разве беспмятство, то есть продолжение того же состояния, в котором я находился во всю мою жизнь? Что я оставлю по себе? *мое все со мною!*^{3} А если то, что я говорю тебе теперь, пришло мне в голову в мою последнюю минуту; если что-либо шевелилось в душе моей в продолжение моей жизни; если последнее, судорожное потрясение нервов внезапно развернуло во мне жажду любви, самосведения и деятельности, заглушенную во время жизни: буду ли я тогда достоин сожаления?»

Я содрогнулся и проговорил почти про себя: «Кто же мешал тебе?»

Мертвец не дал мне окончить, горько улыбнулся и взял меня за руку.

«Посмотри на эти китайские тени, – сказал он, – вот это я. Я в доме отца моего. Отец мой занят службою, картами и псовою охотой. Он меня кормит, поит, одевает, бранит, сечет и думает, что меня воспитывает. Матушка моя занята надзором за нравственностию целого околотка, и потому ей некогда присмотреть ни за моею, ни за своею собственною: она меня нежит, лелеет, лакомит потихоньку от отца; для приличия заставляет меня притворяться; для благопристойности говорить не то, что я думаю; быть почтительным к родне; выучивать наизусть слова, которых она не понимает, – и

также думает, что она меня воспитывает. В самом же деле меня воспитывают челядинцы: ^{4} они учат меня всем изобретениям невежества и разврата, и – их уроки я понимаю!..

Вот я с учителем. Он толкует мне то, чего сам не знает. Никогда не думавши о том, что есть у понятий естественный ход, он перескакивает от предмета к предмету, пропуская необходимые связи. Ничего не остается и не может остаться в голове моей. Когда я не понимаю его, – он обвиняет меня в упрямстве; когда я спрашиваю о чем, – он обвиняет меня в умничанье. Школа мне мука, а ученье не разворачивает, а только убивает мои способности.

Мне еще не исполнилось четырнадцати лет, а уж конец ученью! Как я рад! я уж затянут в сержантский мундир; днем хожу в караул и на ученье, а больше езу по родне и начальникам; ночью завиваю пукли, пудрюсь и танцую до упада. Время бежит, и подумать – физически некогда. Батюшка учит меня ходить на поклоны и подличать; матушка показывает мне богатых невест. Когда я осмеливаюсь сделать какое-нибудь возражение, – это называют неповиновением родительской власти; когда мне случайно удастся выговорить мысль, которую я не слышал ни от бабушки, ни от матушки, – это называют вольнодумством. Меня бранят и грозят мне за все, за что бы должно хвалить, и хвалят за все, за что бы должно бранить. И естественное состояние души моей превратилось: я запуган, закружен; к тому же природа совсем некстати снабдила меня слабыми нервами, и я – оторо-

пел на всю жизнь: на все мои душевные способности нашло какое-то онемение; нечему развернуть их: они еще в почке, а уж раздавлены всем, меня окружающим; нет предмета для мыслей; может быть, мог бы я думать, да не с чего начать и не умею; я также не могу вообразить, что можно о чем-нибудь думать, кроме моих ботфортов, как глухонемой не может себе вообразить, что такое звук... Между тем я пью и играю, ибо иначе меня назовут дурным товарищем, что бы мне было очень прискорбно.

Все женятся. Надобно жениться и мне. Вот я женат. Жена мне под пару. А я все тот же: в голове у меня до сих пор одни батюшкины мысли: если как-нибудь придет мне в голову мысль, непохожая на батюшкину, то я от нее отмаливаюсь, как от бесовского наваждения; боюсь быть дурным сыном, ибо хоть не понимаю, в чем состоит добродетель, но мне по инстинкту хочется быть добродетельным. Вот почему утром мы с женою сводим разные счета, – ибо батюшка пуще совести наказал мне не растерять имение, а потом, – потом туалет, обед, карты, танцы. Мы живем очень весело; время бежит, и очень скоро. Когда мне по инстинкту захочется переменить что-нибудь в нашем образе жизни, – жена мне грозит названием дурного мужа, и я продолжаю ей покоряться, потому что мне хочется сохранить уже приобретенное мною название истинного христианина и человека с правилами. Этому много помогает то, что я усердно езжу к родне и не пропускаю ни одних именин и ни одного рож-

дения.

Вот у меня дети; я очень рад; говорят, что их надобно воспитывать, – почему не так! В чем состоит воспитание – мне некогда было подумать, и потому я счел за лучшее воспользоваться батюшкиными советами и стал детей точно так же воспитывать, как меня воспитывали, и говорить им точно те же слова, которые мне батюшка говорил. Так гораздо покойнее! Правда, многие из его слов я повторяю так, по привычке, кстати и некстати, не присоединяя к ним никакого смысла, – но что нужды! – очевидно, что отец не мог желать мне худого, и потому все-таки его слова принесут моим детям пользу, и опытность отцов не будет потеряна для детей. Иногда, от такого повторения чужих слов, у меня краска вспыхивает в лице; но чем другим, если не таким беспрестанным памятованием отцовских наставлений, можно лучше доказать сыновнее почтение и что мне, в свою очередь, может доставить больше прав на такое же почтение детей моих? – не знаю.

По инстинкту мне захотелось отдать детей в общественное заведение; но вся родня мне сказала, что в школе мои дети потеряют приобретенные ими в доме правила нравственности и сделаются вольнодумцами. Для сохранения семейного спокойствия я решился учить их дома и, не умея выбрать учителей, выбираю их и плачу дорого; вся родня моя за то мною не нахвалится и уверяет, что на детей моих сошло божие благословение, потому что они во всем на меня

похожи как две капли воды. Но это не совсем правда: жена мне много мешает.

Я жены моей никогда не любил, и что такое любовь, я никогда не знал; я сначала не замечал этого; пока нам говорить было некогда и не о чем, мы как-то уживались; теперь же, как народились дети и мы стали меньше вы езжать, – беда моя приходит! мы ни в чем с женою не согласны: я хочу одного, она другого: начнем ни с того ни с сего; оба говорим; друг друга не понимаем, и, – сам не знаю, – всякий спор обратится в спор о том, кто из нас умнее, а этот спор длится всегда двадцать четыре часа; и как только мы вместе, то или молчим да скучаем, или содом содомом! она закричит, я уговаривать; она завизжит – я кричать; она в слезы, потом больна – я ухаживать. Гак проходят целые дни; время бежит, и очень скоро.

Отчего происходят наши ссоры – право, не понимаю: мы оба, кажется, смиренного нрава и люди (все говорят) нравственные; я почтительный сын, она почтительная дочь; я уже сказал, что учу детей своих тому, чему меня сам отец учил, а она учит, чему ее сама мать учила, – чего бы лучше? Но, к несчастью, мой батюшка и ее матушка противоречили друг другу; оттого мы свято исполняем родительский долг, а сбиваем детей с толку: она их держит в хлопках, я вожу на мороз, – дети мрут; за что бог меня наказывает?

Мне уж приходит невтерпеж, и, хоть для спасения детей, я хотел было пустить мою жену на все четыре стороны; но как

я покажусь на глаза людям, подавши такой пример безнравственности? Нечего делать! видно, век терпеть муку; утешительно, что хоть чужие люди нас за то хвалят и называют примерными супругами, потому что хотя друг друга терпеть не можем, да живем вместе по закону.

Между тем время все бежит да бежит, а с ним растут и мои чины; по чинам мне дают место; по инстинкту я догадываюсь, что не могу занимать его, – ибо от непривычки к чтению я, читая, ничего не понимаю.

Но мне сказали, что я буду дурным отцом, если не воспользуюсь этим местом, чтоб пристроить детей; я не захотел быть дурным отцом и потому принял место; сначала посовестился, стал было читать, да вижу, что хуже, а потом отдал все бумаги на попечение секретаря, а сам принялся подписывать да пристраивать детей – чем и заслужил название Доброго начальника и попечительного отца.

А время бежит да бежит; вот я уже переступил через четвертый десяток; период жизни, в котором умственная деятельность достигает высшей точки своего развития, уже прошел; мои брюшные полости раздвигаются все больше и больше, и я начал, как говорится, идти в тело. Когда уже прежде, до сего периода, ни одна мысль не могла протолкаться мне в голову, – чему же быть теперь? Не думать сделалось мне привычкою, второю природой. Когда от ослабления сил нельзя мне выехать, – мне скучно, очень скучно, а отчего? – сам не знаю. Примусь раскладывать гранпасьянс – скучно. Бра-

нюю с женою – скучно. Пересилю себя, поеду на вечер, – все скучно. Примусь за книгу – кажется, русские слова, а словно по-татарски; придет приятель да расскажет, я как будто пойму; стану читать, – опять не понимаю. От всего этого на меня находит, что говорится, хандра, за что жена меня очень бранит; она спрашивает меня: разве чего мне недостает или я в чем несчастен? – я приписываю все это геморрою.

Вот я болен, в первый раз в жизни; я тяжело болен, меня уложили в постель. Как неприятно быть больным! Нет сна, нет аппетита! как скучно! а вот и страдания! чем заглушить их? Как приедут люди поговорить, – ибо вся моя родня свято наблюдает родственные связи, – то как будто легче, а все скучно и страшно. Но что-то родные начинают чаще приезжать; они что-то шепчутся с доктором, – плохо! Ахти! говорят уж мне о причастии, о соборовании маслом. Ах! они все такие хорошие христиане, – но ведь это значит, что я уже при последнем конце. Так нет уже надежды? Должно оставить жизнь, все: и обеды, и карты, и мои шитый мундир, и четверку вороных, на которых я еще не успел поездить, – ах, как тяжело! Принесите мне показать новую ливрею; позовите детей; нельзя ли еще помочь? призовите еще докторов; дайте какого хотите лекарства; отдайте половину моего имения, все мое имение: поживу, наживу – только помогите, спасите!..

Но вдруг сцена переменилась, страшная судорога потрясла мои нервы, и как завеса упала с глаз моих. Все, что тре-

вожит душу человека, одаренного сильною деятельностью: ненасытная жажда познаний, стремление действовать, потрясать сердца силою слова, оставить по себе резкую бразду в умах человеческих, – в возвышенном чувстве, как в жарких объятиях, обхватить ^[5] и природу и человека, все это запылало в голове моей: предо мною раскрылась бездна любви и человеческого самосведения. Страдания целой жизни гения, неутолимые никаким наслаждением, врезались в мое сердце, и все это в ту минуту, когда был конец моей деятельности. Я метался, рвался, произносил отрывистые слова, которыми в один миг хотел высказать себе то, на что недостаточно человеческой жизни; родные воображали, что я в беспамятстве. О, каким языком выразить мои страдания! Я начал *думать*! Думать – страшное слово после шестидесятилетней бессмысленной жизни! Я понял *любовь*! любовь – страшное слово после шестидесятилетней бесчувственной жизни!

И вся жизнь моя предстала мне во всей отвратительной наготе своей!

Я позабыл все обстоятельства, встретившие меня с моего рождения; все неумолимые условия общества, которые связывали меня в продолжение жизни. Я видел одно: посрамленные мною дары провидения! И все минуты моего существования, затоптанные в бессмыслии, приличиях, ничтожестве, слились в один страшный упрек и жгучим холодом обдавали мое сердце!

Тщетно искал я в своем существовании одной мысли, одного чувства, которыми бы я мог прикрыться от гнева вседержителя! Пустыня отвечала мне, и в детях моих я видел продолжение моего ничтожества: ах! если бы я мог говорить, если бы я мог вразумить меня окружающих, если б мог поделиться собою с ними, дать ощутить им то чувство, которым догорала душа моя! Тщетно я простирал мои руки к людям, – хладные, загрубелые, они хотели познать дружеское пожатие; но человечество чуждалось немеющего трупа – и я видел лишь одного себя перед собою – себя, одинокого, безобразного! Я жаждал взора, который бы отрадою сочувствия пролился в мою душу, – и встретил лишь насмешливое презрение на лице твоём! Я понял его, я разделил его! я с страшною, неотвратимую, вечною горечью оставил земную оболочку!.. Теперь, если хочешь, не сожалей обо мне, не плачь обо мне, презирай меня!»

Кровавые слезы покатались по синим щекам мертвеца, и он исчез с грустною улыбкой... Я возвратился на его могилу, преклонил колени, молился и долго плакал; не знаю, поняли ли проходящие, о чем я плакал...

comments

Комментарии

1

Жил, жил, и только что в газетах... – Слова эпитаграфа являются неточной цитатой из «Эпитафии» И. И. Дмитриева (1803). Точный текст: «Здесь бригадир лежит, умерший в поздних летах. Вот жребий наш каков! Живи, живи, умри – и только что в газетах осталось: выехал в Ростов».

2

Калиостро Александр (наст. имя: Джузеппе Бальзамо) (1743–1795) – мистик и шарлатан, называвший себя разными именами, выдававший себя за алхимика, «заклинателя душ», врача и т. д. С 1780 г. несколько лет под именем графа Феликса проживал в Петербурге.

3

мое все со мною! – Имеется в виду латинская пословица, которая стала популярной благодаря Цицерону: «*Omnia mea mecum porto*».

4

В самом же деле меня воспитывают челядинцы... – Это черта, характерная для дворянского быта того времени. (Ср.: Григорьев Ал. Мои литературные и нравственные скитальчества. М., 1915, с. 34–42).

5

...как в жарких объятиях, обхватить... – Слова эти являются скрытой цитацией стихотворения А. Хомякова «Молодость»: «Я схвачу природу в жарких объятиях; я прижму природу к пламенному сердцу...».